

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

12

2003

2003

СОДЕРЖАНИЕ

ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ — Юрьев день. Поминания	7
ОЛЬГА ИВАНОВА — По линии отрыва, стихи	23
АННА ВАСИЛЕВСКАЯ — Книга о жизни. Публикация Андрея Василевского	26
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ — Негаданный привал, стихи	99
ЛЕВ СМИРНОВ — Глухотное время, стихи	103
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ — Пушкинский бульвар, сюжеты	106
ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ — Военная тайна, стихи	110

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО — «...Не надо бояться себя». О Сергее Залыгине	114
--	-----

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ЛИНОР ГОРАЛИК — Как размножаются Малфои. Жанр «фэнфик»: потребитель массовой культуры в диалоге с медиа-контентом	131
---	-----

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Андерсеновский мальчик — роль навсегда	147
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Василий Белов. Из «Литературной коллекции»	154
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Максим Кронгауз. Игра в роман и вопросы языкознания	170
Михаил Эдельштейн. Назову себя Клингенмайер	175

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Елена Невзглядова. Дизель для тонкого слуха	178
Владимир Губайловский. Глубина неподвижности	181
Ольга Дмитриева. Театр страстей в монархии ума	185

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ БАКА	190
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО	199
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	202
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	209

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	214
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	217
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 2003 ГОД	233
SUMMARY	240

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА
СОЛЖЕНИЦЫНА
С 85-ЛЕТИЕМ!

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

Из «Литературной коллекции»

«**П**ривычное дело» (1966). — То, до чего Глеб Успенский досмотрелся пытливым взглядом доброжелательного стороннего наблюдателя — *власть земли*, — то через 80 лет Василий Белов бесхитростно излил нам из своего крестьянского естества, из своей души и опыта. Из чего вырос — о том всё написал, этого не сочинить. Автор и его герой слиты с природой, у них свычка с каждым деревом в лесу, с неуничтожимым родничком, развороченным дорожными машинами. Большую часть повести льются повседневные крестьянские заботы — труд, пропитанье, рощенье детей, внимание к каждому стебельку, к отогретому воробышку, домашней живности, наблюдение за каждой касаткой, синичкой, жуком (всё идёт в приметы погоды), окунем, глухарём, лягушкой, тёплое струенье из самого нутра житья-бытья, хода природной жизни, круговорота сезонов — всего того, из чего складывается *вечное*. Малые дети явлены нам не просто с любовью — но с вниманием и пониманием к каждому — как в семье Дрыновых из 9 детей.

И на фоне этого вечного — поначалу лишь слабо заметно, лишь вкраплено *преходящее* — советско-колхозное. Вялые нехотные утренние сборы колхозников у кучи брёвен, неторопливые пересуды мужиков и баб. Дурная бестолковая пахота по неудобренной сухой глинистой земле («всё равно ничего не вырастет»). Давно покинутые и никому не нужные жернова от разорённой отцовской ветрянки. Или как, для обдуренья наезжего начальства, возят воду бочками в иссякший колодец. Или как за недоимку описали гармонию. И — выпивка по каждому доброму и недоброму случаю.

Во второй половине повести колхозные бесчинства выступают резче — но не обличительно-гневно — и, вероятно, эта пропорция и помогла повести увидеть свет. Напротив, у общественности, вообще равнодушной к крестьянскому бытию, именно вторая часть имела успех — и принесла автору его первую славу. Сквозь всю повесть выдержан добросердечный ненавязчивый тон — и так отлился литературный самородок — ненарочитая, ненастойчивая, но сгущённая правда о послевоенной советской деревне. Немало пропитана она и добрым юмором, хотя через горечь.

Иван Африканович Дрынов — и сам естественное звено природной жизни, только и мыслимый в отведенной ему непритязательной колее, на своём привычном месте. Добросовестный, даже робкий, многотерпеливый, покорный течению событий, покорный властям («Уж так повелось, его судьбу решали всегда без него»), всегда в работе, колхозной или своей собственной. Медлительный в решениях, стеснительный перед упрёками на колхозном собрании. Отвоевал войну, уцелел (не сказано нам: воротился ли ещё кто из односельчан...), таким же тихим и смиренным, совсем не героем. Иногда слаб к малой выпивке, но и в ней безвреден (на жену свою Катерину «замахнулся лишь в жизни раз»). И воинственность его наблю-

даем лишь краткую — и недостоверную — в момент его бунта на колхозном правлении, когда решился просить справку на паспорт.

На этот резкий подвиг подбил его шурин Митька, приехавший на побывку из Заполярья, — развязный жох, привыкший, что всё покупается и продаётся, избалованный лихими заработками на Севере — более чем современней советский тип. Он вносит сумятицу, даже загул в размеренно дремлющую колхозную деревню. («Да я бы вас всех давно разогнал!» Колхозник Пятак в ответ ему: «Ежели тема не сменится, дак годов через пять никого не будет в деревне, все разъедутся. Может, и не доживу до коммуны. А только охота узнать, что варить будут?»)

Тут — все смиренны: день-деньской все на колхозном покосе, а для своих коров по ночам в лесу косят, Иван Африканыч для того за 7 километров ночью ходит, только два часа и спит. Смекает: как же накошенное перевезти к себе на поветь, сено за зиму в лесу сгниёт — а Митька дерзко привозит сено, почти открыто. Прознало начальство, уполномоченный требует от Дрынова как члена сельсовета доносную бумажку: у кого ещё сено скрадено. Нет, на это не идёт терпелец. Так свезли у него накошенное. (Потом всё же «напайло крещёным, разрешили покосить и для своих коров» один денёк.) — И в пьяный час уговаривает Митька зятя: ехать прочь из колхоза на Север, на лёгкие заработки. Документ, мол, хоть купим. Там — не столько заработаешь, хоть и плотничьим делом. Иван Африканыч сперва: «А ежели мне не надо продажного? Некуда мне ехать, дело привычное». Но потом, и без совета с женой, внезапно решается, и даже, по-фронтовому, в «весёлом безрассудстве» отчаяния, размахивается кочергой на председателя. (Не очень правдоподобно, что председатель сдаётся, не обращается в милицию, впрочем, и милиция обрисована диковатая, с юмором; а через две недели председатель добродушен к беглецу.)

И вскоре же, потерянный, возвращается Дрынов домой — не столько от нелепых приключений в пути, сколько по неотклонному зову родной земли, перед которой испытывает стыд. Не дала ему облегчения попытка вольности. «Всё самое нужное стало ненужным, пустым, обманным».

Но за время короткой его отлучки от смертной хвори скончалась Катерина — уже годами выложившая все силы на скотном дворе, даже после родов не упуская рабочего дня. «Худо тебя берёг...» Так жестоко наказанный, Иван Африканыч в муках осмысливает, как жить и что есть смерть. «Бог там или не Бог... А должно же что-то быть на той стороне». И как в жизни заблудился — так заблудился и в знакомом же лесу, едва не насмерть, — этими сильными картинками и размышлениями кончается повесть. «Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя». Но девятерых детей надо дорастивать.

Композиция повести весьма свободна. Вклиняются эпизоды и разговоры, не связанные с сюжетом; об иных событиях мы узнаём не тотчас к сроку, а спустя время, прямым сказом от свидетеля или потерпевшего. (Этот приём очень прилегает к тону повести и к неторопливости её.) Допускает автор и пространные, совсем побочные включения (сказки о пошехонцах, — впрочем, не ответ ли беспомощности вконец задуренного колхозного народа?). Самое замечательное из них — «Рогуля» — целая глава о коровьей жизни, ещё нигде не читанная поэма о корове, её глазами, её пониманием. Это — жемчужина.

Язык диалогов — живейший, и авторская речь не диссонирует с ним. Есть мелкие срывы-неточности: «вневременная созерцательность» (о корове).

Многие сочные русские слова, употреблённые Беловым в разных местах, я привёл в «Словаре языкового расширения». Вот ещё несколько:

усторьонь	разореньё	в́знялся (отличился от других)
на усторьоньце	собразньё	вызнато-перевызнато
они по замужьям	сра́зiku	обряхуха (корове)
взапятки (назад)	раностав-м	еле-елёшеньки
	дремуны	

Очень част приём: вместо «начали делать» что — глаголы с приставкою «за» — даже такие, как *заувёртывались, завсплескивали, заразвязывали, запо-чёсывалась, запеременивались* местами.

При успехе «Привычного дела» прошёл малозаметно душевный рассказ «На Росстанном холме» — о 25-летнем жестоком ожидании жены, что пропавший на фронте «без вести» муж — ещё вернётся. Рассказ напоён фольклорным и даже былинным дыханием.

Вскоре за тем в «Плотничьих рассказах» (1968) Белов неоправданно допустил бессвязно-хаотическое построение из рассказов (сказов), drobных эпизодов, случаев и анекдотов из деревенской жизни (с захватом дореволюционной), направленных то на сравнение разумного хозяйствования с дурным, то совестливого поведения и бессовестного, но текст не прометен от сора — и разрушается цельность читательского впечатления, да даже и интереса.

Такая же неясность, сдержанность на перевесе — и в самом повествователе «Зорине», которому автор отдал и свой год рождения — 1932, и свои юношеские безудачные прорывы к среднему образованию, и своё наслаждение деревенской поэтикой — облегчением столетней избы от свала мартовского снега; и увлечённость перекладкою старой бани, а затем истопкою понову; и свой вкус ко всему быту и предметам его, тут и «лошадь берёт как невесту», и «разговор помогал работе плотничьих рук», «кто работает, тому скрывать нечего».

Во второй половине всё рассказываемое приобретает большую весомость и грозную глубину. Мелко-дрянной по характеру и житейским поступкам Авенир Козонков всё более открывается нам как «активист» первых советских годов («я с восемнадцатого года на руководящих работах»), он и мочится с высоты колокольни, и шлёт кого-то сбросить колокол, он и основатель комбеда, и гонитель работающих крестьян (вопиющие случаи, всякий раз по-новому разящие в любой книге), — и он же теперь жалко собирает документы и свои газетные корреспонденции-доносы в хлопотах «получить персональную пенсию». В потоке повествования, вперемежку с незначностями, мелькают потрясающие сцены расправ с лучшими крестьянами на рубеже 30-х годов, потом поминаются и жестокости колхозных лет, и как, в отрыв от земли, гоняли валить леса, и «трудгужповинность» на дорогах — и до натурально уродливого нынешнего «соборания» колхозной бригады.

И — почему же всему этому не придано цельное понимание? Почему эта раскалённая правда не стягивается ни в какой слиток? Форма то и дело расплывается, автор как будто только ищет её.

Ищет? Или не решается дать во всей цельности? Может быть, ещё и по художественной неготовности? Или ещё собственной душевной нерешённости?..

Сосед Козонкова — добросовестный, здравомысленный, честнейший плотник Олёша Смолин. Эти соседи на всём протяжении их жизни от юности (и на всём протяжении «Рассказов») то и дело сталкиваются, но и тут же мирятся, и так — много раз. И так же примирителен к их разногласиям автор — только бы не вынести явного решения, только бы не перевесить весы от себя. И кончает книгу, не выявив себя отчётливо.

Я думаю: сам воспитанник комсомола и партии, Белов к этой поре ещё был не готов. И одновременно же: замысел большого полотна на зияющую тему в нём только созрел.

Почти не прояснённого нам в «Рассказах» повествователя Зорина, но уже годами позже, мы встречаем у Белова ещё в нескольких рассказах 70-х годов. Однако избранный герой — тут как бы совсем нов, не развитие

прежнего, и такой сюжетный приём вызывает удивление. Зато в «Воспитании по доктору Споку» — ещё более нов, необычен сам Белов. Тут он — не привычный «деревенщик», но динамичный «городской» писатель. Совершенно другой жанр, тон, темп повествования, резкий прыжок в авторской манере. Кипуче достоверна, выхвачена из жизни и советская производственная обстановка, и вообще вся советская, как она отразилась на развале семей. (Тут Белов надолго начинает тему о современной пустоте и безнравственности молодого поколения, более всего обвиняя в том женщин. Это — рядом же, в ярком рассказе «Чок-получок». И ещё встретится нам впереди.)

В середине же 70-х годов Белов приступает к роману о деревне конца 20-х годов. Подобных романов в советской литературе раз-два и обчёлся, для восстановления верной картины они жадно нужны. Как же сложилось это у Белова?

«Кануны» (1976). — Очень медлительное, околичное начало. Белов пишет роман в доверчивом убеждении, что вся дробная, неторопливая описательная манера русской прозы — незыблема и будет действовать постоянно и без отказа. С этнографической обстоятельностью описываются устройство обширных изб и крытых дворов северной деревни, одежды, ручные занятия (с ними идут и в гости), обряды святочные, масленичные, бытовые отношения — и диалоги (всё — живое, достоверное). Всё новые фигуры, множество имён и отчеств, недосужий читатель не охватит, не запомнит. Во всём этом устоялся вековой уют.

Но вовремя, тут же, посылает нам автор и первые сигналы тревоги. В сельсовет (отнятый дом купца) прислана (декабрь 1927) замысловатая директива: с наличным составом (их, партийных в селе, три человека) обсудить материалы XV съезда партии и проявить своё отношение к линии оппозиции (троцкистской). А вот и Игнат Сопронов — уполномоченный от уездного исполкома и он же секретарь волостной партячейки. И первые кандидаты в «лишенцы» (лишённые избирательных прав) — как это неуклюже и тупо врезается в деревенскую обыденщину. И верна атмосфера того (ещё недалёкого от революции и Гражданской войны) года: всё более жестокие, грубые забавы мужской молодёжи; и распущенный поп «Рыжко», заправила в картёжной игре, при обиде же спешит жаловаться в сельсовет. А лишенцы везут обжалование в Москву (недавний свой деревенский Штырь угодил в курьеры при канцелярии ЦИКа). Вставлен (но никак не по сроку) и отбор церковных ценностей, правда — мельком.

По закону объёмного повествования ведёт нас Белов и в саму Москву, и в пролетарскую семью, и в литейный цех большого завода, — причём работа формовщика изображена с достоверной точностью, с какой Белов обычно пишет лишь о деревне: с большим знанием смысла каждого фрагмента деревенской жизни и любованием ею, что служит сохрану всего этого быта в нашей исторической памяти. Тут и — как «утром по всему селу из печных труб пахнет испеченными караваем». Тут и типичные частушки раннесоветского времени. Тут — и обильная свадьба со всеми обрядами — а коммунист Сопронов врезается во время венчания — и от царских врат предлагает тут же провести собрание граждан. Выставить его не смеют — и он читает обращение о помощи китайским революционерам. — Тут и — традиционные сельские масленичные гонки на санях.

К весне рождается и приходит в действие крестьянский творческий сюжет: ближе 10 вёрст нет мельницы, так построить свою ветряную! — да такую, «чтоб молола даже при самом слабом „травяном“ ветре». Молодой Павел Пачин давно искал и вот заприметил в лесу «великую сосну», кото-

рая одна только и может пойти на столп. И нам подарены прекрасные страницы русской прозы: как развивается замысел, как стовариваются начинатели большого дела — и всегда рискованного (можно разориться), и ещё не дано им предвидеть, насколько опасно рискованного в советское время. Затем кипуче развивается, охватывая всю деревню исконной общей работой — *помочами* в трудном деле. Всё это протекает перед нами как нестираемая трудовая поэма (несколько разбавленная обильным частушечным смехом).

Когда же в селе разражается направляемое с советских верхов «движение бедноты» (теперь «будут народ делить на три разряда») — автор оглядливо сужает размах проблемы, отъединяет Сопронова от других коммунистов села, от председателя волисполкома, и все разрушительные действия Сопронова сводятся к его личной злости и мести, до того, что «бедноту» он стягивает как бы по единоличной воле. (И этот одиночный злодей тут же наказан: переизбран с секретаря ячейки и уехал из села.)

Начало второй части романа производит странное впечатление беспорядочных метаний автора, как будто в робости или растерянности перед задуманным объёмом: с чего и как продолжать? — ведь надо успеть охватить все стороны той жизни. Перекидывается в Москву (вполне бестелесную). Рваные картинки: мимоходная женитьба пролетария Штыря; его озорство с заводским гудком; и он же — в президиуме заводского митинга по борьбе с троцкистской оппозицией; прискакивает представитель из ЦК товарищ Шуб — и вдруг оказывается тоже троцкистом; однако успевает заарканить Штыря к себе в кадр — но тут же сам издымливается бесследно. — Теперь в село. Бывший помещик Прозоров, ограбленный в революцию, но до сих пор пощаждённый, гуляет по цветущим июньским лугам. Его текучие мысли; беглым пунктиром — его прошлая жизнь и увлечения; тут же раздумья: «Россия, Русь... Что за страна, откуда ты взялась? Отчего так безжалостна к себе и своим сыновьям?»; тут же — бабы работают на полях, их зубастые шутки на досуге; к Прозорову вопрос: «а нас-то в колхоз будут заганывать?»; скороговоркой — справка о последних решениях ВЦИКа. И опять гулянье Прозорова уже в Иванов день, попытка вызвать девушку из деревни; цветенье и запахи разнотравья, поэтически о ржаных колосьях (хорошо, близкое авторскому сердцу); большое Ивановское гулянье в селе, игра в бабки (подробно, опять мельканье многих имён); между тем в селе бродячие коновалы легчат жеребца (жестокая реальная сцена); а Прозоров так и не дождался вызванной девушки. Праздник кончился, пора возить в поле навоз (из-за оводов — ночью), — и это уже пишется всерьёз и у места.

И только вот когда возвращается главный сюжет: судьба начатой мельницы. Всю весну шла изнурительная и радостная постройка (подробно о ней — и интересно, особенно — как восставляли главный столп), спали по четыре часа в ночь, почернели — а вот накладываются и неотложные полевые работы — как на всё разорваться? И вдруг — два пайщика мельницы, пугаясь нового неверного времени, чем грозит оно, — отшатываются, выходят из пая. А за это время «мельница выкачала из хозяйства соки, подгрести под себя». «Всё рушилось на глазах». И это — драматично ощущается нами, мы уже разделили творческий порыв с мельницей. И только здесь — реальное начало второй части. Павел Пачин с неутраченным вдохновением дорисовывает в воображении, какова мельница будет достроенная. Последний сохранившийся в амбаре ячмень — выгребает, везёт на продажу.

Тем временем в роман возвращается Сопронов. Сперва — в виде своего младшего брата Сельки. Селька, прежде исписавший церковную ограду матюгами, теперь повёл полдюжины недорослей бросать камни в церковь, бить стёкла. За этим их застают подоспевшие старики. На совете стариков решено, по-старинному: выпороть Сельку розгами (и получают горячую

поддержку от Селькиного отца — безногого и беспомощного, тот при сечке сам считает вслух удары: «не жалей дьявола!»). А выручил секомого — озабоченный строитель мельницы Павел Пачин. — Сам же Игнат Сопронов минувшие месяцы проболтался где-то на лесозаготовках да на речной барже — но испытывает тяготение вернуться в своё село, однако опасается деревенских насмешек над своими неудачами — и жаждет получить новую командную должность. С этим добирается до самого секретаря укома — а тот, за долгую отлучку и неуплату в эти месяцы партвзносов, — отбирает у Сопронова и партбилет. (А тем самым, сюжетно: всё, что отныне Сопронов натворит в селе, — ложится на него лично, злодея, а партия тут ни при чём. Это — обдуманый ход автора.) Ошеломлённый Игнат впадает в лихорадочное состояние; тут его заботливо подбирает Пачин-отец, в уезде по своему делу, и доставляет в село (тоже прозрачный ход автора: именно Пачины добры к Сопроновым). — Приехав в село, выздоровевший Игнат узнаёт, что Сельку выпороли, — и кидается с жалобой в сельсовет. Тут же узнаёт, что Павел Пачин везёт на продажу 20 пудов ячменя, — и, вместе с главой местной коммуны, кидается отобрать зерно для коммуны. (Совсем мимоходом, не описав такого крупно-зримо, автор упоминает, что в минувшие месяцы, безо всякого Сопронова, «комиссия, возглавленная председателем коммуны, ходила по деревням, выявляла хлебные излишки» и «мужики ещё зимой сдавали зерно по чрезвычайным мерам». Хорошенькая малость — рядом с масленичными конскими гонками и играми в бабки, которые нашёлся простор описать. В том числе отобрали и у пачинского тестя, главного пайщика мельницы.) И теперь Сопронов успевает скомандовать Павлу: заворачивать воз на конфискацию. Но тут же, по чудесному совпадению, появляется досужий Прозоров с именно сегодняшней газетой в руке: чрезвычайные меры — отменены Советом Народных Комиссаров! Так, оказывается, во всём губительстве власть невиновна!

Следом сюжет переводится в ещё более личный план: Павел приходит к Игнату мириться: «Ты, Игнатий, зря на меня. Скажи мне, что я сделал худого — тебе, скажем, или Советской власти?» Игнат отвергает примирение, швыряет-разбивает принесенную бутылку водки: «Ты первый мой недруг! нам на роду было написано!» (Так что — конфликт частный.) И тут же садится писать анонимные доносы: «о классовой вылазке стариков, выпоровших молодого активиста», и о бывшем помещике, «который занимается подстрекательством среди населения». И «прямо в губернию, у него ещё раньше были запасены нужные адреса».

Далее следует бессонная ночь Прозорова и его довольно натужные (под прямым влиянием Толстого написанные, никак не даётся автору этот дворянин) размышления, вроде: «вдруг с жестокой ясностью понял неумолимый закон времени», «в чём же смысл жизни, если она всё равно кончится?», «подумал об относительности всего и вся», да ещё же «страдание от ускользающей нежности» к образу женщины «и от жажды видеть её сейчас, немедленно». «Кому и зачем всё это нужно?», «так невыразимо глупо всё на земле». (И тут же, от полного авторского чувства — утренний полевой пейзаж.) Направляется в соседний церковный домик к глубоко старому, медленно умирающему благочинному отцу Иринею. Тот читает ему, атеисту, наставление о вере. Тут же является нынешний бесчинный полупьяный поп Рыжко, только что разваливший полевой молебен ради собственного купанья в кальсонах: «А кто виноват, что церковь обюрократилась? Народ давно отошёл от вас». Так, коротким приёмом, автор извещает нас, что держит и эту всю проблему в памяти.

Но в памяти держало её и ОГПУ, и прикатившая в село чрезвычайная уездная *тройка* — со списком стариков, поровших Сельку: немедленно отобрать их всех в волисполком. Тут в селе — опять весёлый праздник, Казанской Божьей Матери (с новой пьянкой, гармониями, танцами и бессмысленными драками молодёжи), старики едут по вызову в лучших руба-

хах, ни о чём не догадываясь. А их — запирают под замок в тёмный амбар (когда-то их же руками срубленный добротнo для земской управы).

В этот же приезд уездный гепеушник арестует и Прозорова (опять пространно бродившего сутки по перелескам в равнодушно-тоскливых размышлениях о сути жизни, вплоть до самоубийства, очень размазанных, очень подражательных к Толстому, а к концу, в живописную грозу, встретившего свою желанную). Губком партии на основе сопроновских анонимок повелел чрезвычайной тройке допросить Прозорова и выяснить с о. Иринеем. Тройка находит, что «необходимо ликвидировать последние очаги буржуазной опасности» (Прозорову вменено как вредная агитация и чтение совнаркомовского постановления), и приговаривает: выслать обоих за пределы губернии. — Но огласка приговора окружена праздничной толпой, смята шутками, показным плясом секретаря укома и роспуском захваченных в амбар стариков — живая народная сцена.

А в эти самые часы, наглядяемый двумя нищенками, в своём чистеньком домике над речкой, по-за деревней, тихо отходит отец Ириной. По прошедшему слуху — к одру умирающего стекаются деревенские. Эта, с тёплой задушевностью написанная, глава — как раз при месте, мирно вышагивает надо всей предыдущей суетой.

На минувших тут страницах — мимоходом же, протокольно, обранияет нам автор, что перед уездными властями висят и такие вопросы: как быть с двумя коллективными образованиями — крестьянским кредитным товариществом (успешным с дореволюционного времени, как и по всей России) и маслодельной артелью (преуспевающей, как всюду по русскому Северу и Сибири)? А тут и коммуна имени Клары Цеткин (в развале, как и по всему советскому пространству), как быть с ней? Но этот ключ к накатывающим огромным событиям — по сути минован автором: именно двум опасным видам кооперации, не предусмотренным советской властью, этим «диким колхозам» и грозит уничтожительный каток.

Между тем роман — через не первую уже перегруженность избыточными малозначными сценами, да и вовсе лишними персонажами, занимающими немалый объём в ущерб существенному сюжету, — переносит нас от собственно сельских событий к делам и обстановке вологодского губкома. (Туда едет заведующий уездным финотделом, уже обвинённый «в потворстве середняку и недостаточной жёсткости в деле выявления скрытых доходов».) В вологодском губкоме — всё симпатичные люди — и секретарь губкома Шумилов, он «по натуре своей мягок и терпелив», и зав. отделом по работе в деревне, и «симпатичная зав. женотделом, всеобщая любимица губкомовцев». — Однако из Москвы затаённо гнетется, мол, какая-то непонятная смута. Например, Шумилов, занимая должность уже более года, почему-то всё не утверждён из Оргбюро ЦК. Исключённый же из партии «закоренелый троцкист Бек», подписавший телеграмму в Москву о возвращении Троцкого из алма-атинской ссылки, — Контрольной комиссией восстановлен в партии «и снова шумит в Вологде и мутит воду, где только может». Или потребовано отметить митингом провозимое через Вологду тело известного троцкиста Лашевича. Такова «атмосфера директив, которые поступали из центра за последнее время», «некоторые непонятные» влияния сверху. Вот и перехваченное, скопированное для губкома, частное письмо троцкиста из Москвы с нападками на «сталинскую фракцию»: «честных партийцев из оппозиции сажают в тюрьмы». В директивах из центра «постоянно подчёркивается важность работы с беднотой», «ударить по кулаку!». — Что это?.. «Какую ещё новую коллективизацию» затевают? Ведь «ленинский кооперативный план намного верней и надёжней, чем все эти левые лозунги». Да вот что: стали пугать «правым уклоном в партии» (это — сталинским) и «примиренчеством» (тоже сталинским). (В чём, кажется, разногласий с троцкистами нет, это — «крайняя

слабость работы по проведению налоговой кампании», разъяснить «классовый характер налога», «расширить обложение зажиточных».)

Тут автор принимается за документальное изложение материалов вологодского губкома за осенние месяцы 1928 г. Длинно и вязко цитируются пункты партийных задач и лозунгов. Белов тщательно ищет подозреваемую им истину: кто же на самом деле виновен в злодействе насильственной коллективизации? И в изнеможении, для отдыха души, откидывается вздохнуть в поэтическую обзорную главу (XV): «И ходила осень по русской земле... И древняя песня влетается в крик журавлей...» Следует яркая пейзажная картина. Однако и тут никуда не денешься: «Страна закладывала обширные стройки. Лес был нужен не только для барачных строил и бетонных опалубок, Европа платила за наши ёлки чистейшим золотом. Сразу во многих местах неоглядного русского Севера впились в древесину поперечные пилы, ударили топоры».

И вот наконец когда — мы возвращаемся в наше село. А тут что? Неуязвимый Игнат Сопронов, хоть и без партбилета, — стал председателем сельской Установочной комиссии (устанавливающей раскладку налогов). Из уезда, из губернии велят: повысить обложение зажиточных. И никем не контролируемый Сопронов грозно разносит по благополучным избам — невместимые в разум цифры. Это — «его ущемлённое прошлыми обидами самолюбие», «он утвердился, что весь мир живёт только под знаком страха и силы». «Партия тут ни при чём», — прямым текстом добавляет Белов. (Или заставила цензура?) — По всему селу поднялся стон и бабий плач. «В прошедшую ночь не спала половина деревни». Кто-то грузит сундуки на подводу, вообще уехать напрочь, покинуть свой дом. «Поимей совесть, Игнатей Павлович! Откуда таких цифров-то насчитали?» Кому ответа нет, а семье Павла Пачина: «Мельница, товарищ! Считается кустарное производство». — «Мельница? Да ведь она ещё безрукая!» — «А денег не было бы — не строили!»

Тут грозный ход прерывается большой поэтической главой, волной поэтических эпизодов — о тех, кто *делает дело*. Белов окунается всей душой в свою родную стихию. Картины невозвратного крестьянского быта: ночная сушка снопов в овине (и как это, в зареве печи, видится дивным малому мальчику). Тут же старый дедко Никита (прелестный сквозь всю книгу) бормочет отсердечную молитву ко ангелу-хранителю. И ночная же, до утра, цепная молотьба — поэзия работы, с большим знанием всех мелочей. — И не замерла же, ждёт сушка и трёпка льна. — И «сила рук, до конца выпитая вязким деревом» под топором. — И счастье Павла с женой. — И круговой обзорный огляд всех трудовых полей окрестья с мельничного угора. И — сама же мельница наконец! «Пусть ещё бескрылая, стояла уже на угоре, когда столько вложено в неё ума и силы. Желтовато-янтарная её плоть, объединившая сотни перевоплощённых древесных тел, была так осязаемо близка, дорога и понятна. Будто рождённая неожиданно, она послала ему свой поклон, свою благодарность за то, что он вывел её из небытия. Придёт час — оживёт, стронется... замашут шестеро могучих широких крыльев». И Павел смекает следующие доделки. По доделкам надо идти в лес с топором.

И тут, в последних страницах, автор вносит сюжетный ход, совсем не нужный Сопронову: тот выслеживает Пачина за деревней, накидывается с жестокой дракой, затем и стреляет в него из ружья, — да осечка. (А расстреливать — сельским активистам не требовалось, то делали специалисты ГПУ.) Павел вырывает ружьё — и пренебрегает жалким врагом, оставляет его без возмездия.

Окончанье всего романа?.. Не тянет на то. Не достроено.

«Лад» (1979-81). — Это — уникальная книга, и жанр её нелегко определить. Формально бы — этнографические очерки (даже — энциклопедия) о жизни русского, преимущественно — северного, то есть самого исконного, крестьянства в охвате веков и каким оно дошло до советского времени, отчасти — и до Второй Мировой войны. Но Белов и сам предупреждает, что он «никак не претендует на академичность», хотя очень продуманное, стройное изложение и богатство фактического материала позволяет книге служить и обширным, и местами незаменимым, справочным пособием. Мало сказать, что это очень серьёзная, размыслительная книга, но она вся пропитана поэтичным (Белов — в своей родной стихии!), любовным и умиряющим духом. Она содержит и цитаты, эпитафии из поэтов, из фольклора, высказывания русских мыслителей, художников, изрядную долю и личного опыта автора, показательные случаи из жизни, — в книге разные слои, и они перемешиваются. Немало авторских комментариев от светлой души, — и они с интересом и легко читаются.

Книга составлена из последовательных разделов: «Круглый год» (сезонные чередования крестьянской работы и жизни). — «Подмастерья и мастера». — Работы и рукоделья женские. — «Родное гнездо» (жильё и что его окружает). — «Жизненный круг» (от младенчества и до смерти, шаг за шагом прослеживая переливы возрастных признаков; и от рожденья до похорон, через все бытовые обряды, игры, гулянья, праздники, сходы; но — примечательно для Белова: обряды церковные и вообще церковность, и церковный дух простонародья — вовсе не охвачены этой обильной книгой). — Еда и одежда. — Искусство народного слова (и виды его: разговор, предание, бывальщина, сказка, пословица, песня, причитание, частушка, загадка, прозвища; тут и — природные свойства сказочников, роль импровизации; и судьба всех этих жанров в послереволюционное время). — Наконец деревянное зодчество и народная скульптура. «Деревянные северные храмы поражали не размерами, а соразмерностью». Орнамент деревянных сооружений, птицы и кони в архитектуре. Шемогодская резьба по берёсте и холмогорская резьба по кости. Резная посуда, резные игрушки (и лаконизм игрушек глиняных). — Всё это и сгущено в названии «Лад», лад жизни — в контраст с *разладом* её.

Роль *ритма* в жизни и труде. Ритмичность в ежегодном повторе работ. Работы погоняют и перекрывают друг друга, бывает тесно одной работе от другой. «Такое состояние, когда человек не знает, чем ему заняться, совершенно исключено в крестьянском быту». Детская игра переходит в труд. Многообразие, многослойность и внутренняя гармоничность крестьянского хозяйства. Эта гармония придаёт сельскому труду красоту. Кто умеет *красиво* косить или плотничать — накосит и наплотничает больше и лучше.

Память и меткость в *приметах* погоды, их полугодовой пересчёт. Почти однодневная угадка момента посева. «Тот или иной обычай так естественен, так древен, что выглядит произведением самой природы». Молитва при начале важных работ, особенно сева. Взаимопонимание и сотрудничество с лошастью при каждой работе (а у женщины — с коровой). Да душевные отношения со всеми домашними животными — и отзывчивость тех.

То и дело вклиняются расширительные размышления автора, весьма уместные, много — психологических. Стихийное ощущение родного гнезда не зависит от красоты местности. С возрастом и до возмужалости — расширяющиеся круги этого ощущения, «своя душа в каждой волости». (Но показательны и его замечания о сходстве гоголевских миргородских сюжетов и персонажей — с северными.) «Трудолюбивые добрые люди были в чести у мира». Широкая взаимовыручка, особенно к сиротам и вдовам. Роль стариков в многодетных семьях (где теперь и те, и другие?), их душевное равновесие в ожидании смерти. «Русская печь остывала только с гибелью семьи или дома».

Немало и метких размышлений о народном художественном творчестве. Слияние предметов народного искусства с предметами быта и труда. Народная эстетика вытекает из жизненной психологии. Роль мастерства в крестьянской жизни. Красота в труде как отстаивание своей личности. Искусство может жить в любом труде, даже у дровосека. «Общенародная тяга к созидательному труду. Всё начинается с неукротимого и неизъяснимого желания трудиться». *Мастерство* — та же почва, из которой вырастают художники. «Потребность таланта теплится в каждом из нас, только вырастает в разной мере». «Высокий восторг и вдохновение возможны в любом труде». И при том: большие мастера своего дела не гнались за мирской известностью, «даже видели в ней нечто постыдное, мешающее их художеству».

Весьма познавателен, подробен и интересен весь раздел о мастерах. Особенное внимание и понимание у Белова — к плотницкому делу, в котором он и сам много потрудился. «Плотницкое дело — извечный и неизбежный спутник земледелия», «топор у каждого плотника — продолжение рук»; «чувство дерева». (Тут — и все виды древесных материалов, и: крыши изб крылись без единого гвоздя, да так, что никакой ветер их не сорвёт.) Но со вниманием и пониманием вникает автор в работу печников, кузнецов, гончаров («рождение образа из глины и огня»), столяров, бондарей, швцов (портных), сапожников, скорняков (кожевников), шорников, колесников, лудильщиков, дегтярей, смолокуров, пастухов, даже копателей колодцев (как угадывают «водяную жилу», где копать, и по росе, и по растущей траве, и по толчее мошки), помянет и слесаря-односельчанина, который сладил железный протез обезножевшему фронтовику, и катальщиков валенок — для каждой профессии находит автор любовные слова и разъясняет тонкости мастерства. Услеживает и безвозвратно погибшие виды художественных промыслов и гибель художественности от поточности производства. И, конечно, о кормильцах-мельниках, и о тех, кто пошёл по торговой линии, и тут важное психологическое замечание: сами торговцы считали *увеличение* своей торговли — грехом (как и вообще «в старину многие люди считали Божьим наказанием не бедность, а богатство»).

Да, почти всё это — ушло невозвратно, никогда уже не вернётся — но тем дороже, что так любовно схвачено при своём иссякании. У Белова — множество метких замечаний по творчеству всех видов, и как оно связано с терпением, трудолюбием и пониманием традиции. («Почти все умельцы становились подмастерьями, но только часть из них — мастерами», однако было и: «мастерство, передаваемое по наследству или по волостному соседству».)

И отдельно: целая поэма — о женских рукоделиях. «Лён — был женский удел, как лес — мужской». Сложные перипетии выращивания и неоднократной обработки льна, с какой точностью надо успевать за сменами погоды. Прослеживает всю неповторимую технологию обработки неповторимого же по качествам и многолетне служащего льна (так и не восполненного никакими новейшими тканями). И как эта обработка погнала к неуютному труду, но и вписывалась в быт, в супрядки-«беседы» с их игровыми элементами. Дальше — виды тканья, виды шитья, вязанье, кружево, плетение — и сочетание рукоделий с песнями. (И как краски труда изгасли в колхозных условиях.)

С большим знанием дела и смысла — много устройственных подробностей — памятник уходящей цивилизации. Примечательные особенности крестьянских сходов (впрочем — и живописность иных колхозных собраний). Многочисленные обряды (ритуальные потчевания и отказы от них, воздержание; гостьба и отгашивание; свадебные обряды, начиная от сватовства). Перерождение гуляний в советское время, снижение хорового искусства и пляски. «Народная музыкальная эстетика немислима без слияния со звуками и шумами природы». А «после войны художественная организованность народного быта ещё намного снизилась». — Чувство меры

в одежде — между щегольством и убожеством. («От сословной спеси национальные традиции в одежде стали считаться признаком косности».) Сочетание добротности и удобства, особенно в одежде повседневной. И бережливость к одежде, донашивание её в поколениях. «Выбрасывать — считалось грехом, как и покупать лишнее». «Неустойчивый быт 20 — 30-х годов свёл на нет резкую границу между выходным одеянием и будничным». — Наконец — и разные, многие виды крестьянской пищи, теперь тоже невозвратно ушедшие (та же выпечка ржаных караваев, которых нам уже никогда не есть).

На фоне огромного бытового материала порой не минует Белов и соображений о глубокой дали русской истории. Украшает книгу и его высокая чуткость к русскому словообразованию. Нашлось в книге и место оспорить мнение, будто северная русская природа «неяркая, неброская»: не говоря уже о переменах, связанных с временами года, — «смена пейзажных настроений происходит порою буквально в считанные секунды. Лесное озеро из густо-синего моментально может преобразиться в серебристо-сиреневое, стоит подуть из леса лёгкому шуточному ветерку. Ржаное поле и берёзовый лес, речное лоно и луговая трава меняют свои цвета в зависимости от силы и направления ветра. А ещё же — небо, солнце, луна, тепло и холод... Зелень льна меняется с его ростом, зелень трав — бесконечно, а луга после косьбы снова ярко зелены, и до зимы зеленеет озимь. Вода в озёрах и реках то стальная, то голубая, то — до чернильной густоты...»

Книга «Лад» — драгоценность в русской печатности.

«Всё впереди» (1986). — После растравного окунания в невозвратное русское прошлое Белов тем больше должен был чувствовать себя неместным в уютном настоящем, в роящемся потоке современной жизни, не мог не ощутить себя в конфликте с нею. И тут — он отважно взялся противостать этому потоку? и даже повлиять на его течение? Сравнением 1-й и 2-й части этого небольшого романа можно так понять, что решимость набралась в нём не сразу.

В этом романе он круто сменил манеру письма, усвоил (впрочем, уже не впервые) живую и хлёсткую манеру вполне современного заправского московского писателя, как бы отдался этой круговерти телефонных звонков, метаний в такси по улицам (всегда с уверенной точностью называя их) и даже — чего уж совсем не ждешь бы от Белова! — начал с туристической поездки льготных (политически проверенных) москвичей во Францию. (Впрочем, эти страницы скучны, Франции почти не видим, лишь туристическую нудь, да наверно автор так и хотел, — только удивимся: как сам он влез в подобную поездку?) При том остро новые ноты, зазвучавшие в советской жизни как раз в середине 80-х, Белов игнорирует (да он и относит действие на 10 лет раньше) и собирает внимание читателя на пустоте развращённых нравов и распаде семей. А примеры легко нанизываются, их и правда немало вокруг.

В тоне автора нарастает раздражение. И этот тон проходит через всю книгу и портит её. Само по себе раздражение не может стать движущей силой художественной удачи. Но сначала автор не ограничивается назиданием (мол, нынешние женщины не хотят детей, а мужчины хотят, раздражение против женщин), а строит весьма правдоподобный сюжет из 7—8 персонажей, связанных между собой или родственно, или прежним соучием в одном школьном классе, — и всю 1-ю часть убедительно передаёт нервную, замотанную обстановку, типичные столичные сцены (у всех что-то много свободного времени, легко обращаются со служебными

часами), — и динамично доводит их до драматической развязки. И ограничь автор свой роман этой 1-ю частью — он воплотил бы свои назидания лишь в художественной форме, и мы могли бы упрекнуть его лишь в крайней непроявленности главных персонажей — Медведева, Бриша (о нём — только несколько раз, что у него длинные ноги, долговязый, больше — ни приметы) и нарколога Иванова, которому всё более поручается выражать автора, а он какой-то невыразительно деревянный, да и, настойчиво борясь против пьянства, сам всё время хлещет спиртное. (Впрочем, и все рядом пьют да пьют — укоренившийся и в образованном классе порок.) В романе немало совсем случайных сцен, малозначных засорённых диалогов и даже целые страницы ощущаются как посторонние вставки. И ещё: сплошь неудачен юмор, какие-то затрёпанные городские остроты, пустословные попытки острить, даже неловко читать. Кончаешь 1-ю часть с ощущением: всё это — духовно неплотно. И язык Белова — угас, нет его. Плата за смену манеры?

Однако Белов добавляет 2-ю часть. Действие рывком переносится на 10 лет.

Дмитрий Медведев — кандидат («почти доктор») наук, физик из секретного НИИ («академик сидел у него на крючке»), по давней школьной кличке «идуший впереди», «незаурядная воля», опередивший соперников в женитьбе на соученице красавице Любе, в 1-й части заподозривший (с основанием) измену её, во взрыве гнева запивший (ярко запоминается нам: пьяный сидит на диване босиком, по-турецки и «галстук болтался на его мощной шее, как верёвка на колхозном быке»), — этот Медведев, любитель Шопена, а всё напевавший «Блоху» Мусоргского, — за аварию на своей секретной установке отданный под суд (и отказавшийся от спасительного подложного медицинского бюллетеня), — Медведев, весь духовно обновлённый, вновь появляется после 10-летнего полного молчания. Узнаём, что он отсидел 6 лет (а было и больше, досрочка, затем 3 года вдали от Москвы), теперь, одинокий, под Москвой строит сушилку в совхозе — но никаких признаков, чтоб за эти годы искал прежнюю семью или кого из друзей, всё тот же нарколог обнаруживает его случайно.

Автор ничего не сообщает нам, как же и чем духовно жил Медведев эти 10 лет. Но вот он опять бодр, отпустил густую каштановую бороду, «почти всё понимающий, сильный, почти свободный», — и рвётся выразить свою программу? «Вновь возвращалось представление о забытой медведевской стремительности, о его уме и энергии» — ждём сверхчеловека? Не успел сказать с наркологом двух слов — уже процитировал и Гоголя, и Тютчева, и Твардовского. Залпом: «Научно-техническая революция? Чуть собачья!» «Я консерватор, отъявленный ретроград, и, представь себе, даже немножко этим горжусь. Остановливать надо гонку промышленности. Едва ли не все наши НИИ просто гонят деньги. Физический труд — это естественная потребность нормального человека. Насилие над природой выходит из-под нравственного контроля. Человечество идёт к самоубийству через свои мегаполисы. Мне жалко Москву» («бесконечно любил этот город... его родная Москва, все его радости были связаны с ней»).

Такое полное перерождение вполне естественно для тюремных лет. Но тюремные годы — не ощущены, Белов не даёт нам никакого объяснения, ни ниточки. А просто во 2-й части он прямой заговорил от себя, и Медведев выговаривает его заветное: «Крестьянская изба, братец, всегда спасала Россию». И: «Я иногда плачу о Пушкине».

К Москве Белов возвращается несколько раз, и их с Медведевым двумя слитыми голосами высказывается: «Душные московские объятия, окись тяжёлых металлов»; настолько оторвалась от природы, что в ней «гром мало кто отличал от реактивного гула»; «Нагромождения жилых массивов разбегались во все стороны, с косным самодовольством вновь и вновь воз-

никали перед человеческим взглядом»; «наверное, чем больше людей на единицу пространства, чем теснее они живут, тем сильнее отчуждённость»; «вышедший из человеческого подчинения гигантский город расширился по зелёной земле, углублялся в её недра и тянулся ввысь, не признавая ничьих резонансов»; «метастазы каменных скопищ расползались во все стороны на расстояния, не подвластные воображению». (Тут, в защиту мегаполисов, не найду возражений и я.)

И вот, как бы разбуженный визитом нарколога, Медведев (у которого «все телефоны записаны», но он до сих пор никому не звонил) отправляется на поиск своей дочери, теперь уж 16-летней, встреча удаётся, и дочь узнаёт отца. И вот только когда возникает в нём возбуждение: а имел ли право новый супруг Бриш усыновить его детей? 10 лет ему эта забота не приходила — а теперь вдруг настраивается против Бриша. (И нарколог нажимает: «присвоил семью, украл».)

А есть ли за что? Люба изменила Медведеву не с Бришем. До сих пор неженатый и всё ещё влюблённый в неё одноклассник, Бриш принимает её с двумя детьми. По советскому закону развод с заключённым не требовал не только согласия его, но даже осведомления. Это Люба, меняя мужа, должна была ответственно думать, кто же будет считаться отцом её детей. Но и сам автор во 2-й части резко переменяется к Бришу. Теперь, кроме длинных ног, обнаружился его «скрипучий голос», у него «наметилась лысина и брюшко», «кибернетическое спокойствие», то «внутренняя, не заметная снаружи улыбка», то «вечная ухмылка, хмыканье». Он же приходит к наркологу за содействием поставить на принудительное лечение спившуюся женщину из их компании. Он — деловой: «если ты не ленив и хочешь чего-то добиться». И из возникшей острой семейной ситуации он «пытается выйти хладнокровно и энергично». В своё время он первый искал путь, как выручить Медведева от суда. Теперь он ищет и как его снова устроить научным работником.

Но Медведев от этого отказывается. Да он бездействует и в усилиях вернуть детям свою фамилию. Не видно, что осталось от его только что объявленной энергии, программы, выдающихся качеств воли, — вообще становится непонятно, что же задумывал автор выразить фигурой Медведева? Явная авторская неудача.

Всю борьбу на себя перенимает неутомимый (от первого выслеживания Любиной измены ещё в Париже) нарколог. (Сам он тоже давно в разводе, сообщается нам, что у него тоже дети, он «любит своих сыновей», впрочем, мы их не видим.) Но тут и автор не выдерживает далее своего раздражения, выходит за пределы семейного конфликта — и столкновение нарколога с Бришем накаляет в русско-еврейский спор — как будто вся причина произошедшего в еврейской принадлежности Бриша, — неужели это евреи виновны в беспутстве и развале русских семей? Тут уже зацеплено и — еврей ли Христос? и — «вековая тоска» в глазах Бриша, и «русская удаль», которая «скачет на тройке ещё с гоголевских времён», только «одна из лошадок антисемитской масти», «вы — нация пьяниц! вы уже исчезаете!», и — «ты можешь улепётывать хоть сейчас, твой народ ждёт тебя всюду», «все заграничные голоса прямо воют о правах человека». После этого оба едут к каким-то знакомым Бриша, там нарколог продолжает пить безоглядно, его выбрасывают на улицу, бьют по затылку, и лишь в отрезвлении у него «ненависть сменилась стыдом за себя».

Вообще во 2-й части романа — ощущение дотягивания, чем заполнить? повторение сцен и вставные неинтересные (вовсе никчемущия в большинстве); случайные разговоры, бружжания. Белов касается многих вопросов в тоне воинственном (но — ни звука о советском политическом устройстве) — однако весь счёт к современной цивилизации и нравственности не уместился в малую романную форму. От неразряженного авторского раздражения — и неудача. «Всё впереди» должно было выра-

зитель призывает не надеяться на будущее, а действовать в настоящем, — но весь состав романа не даёт такого материала и не осуществляет такого призыва.

«Кануны», часть III (1987). — Под влиянием ли «перестроечной» обстановки в СССР испытал Белов к этому году потребность подправить или подзакончить свою книгу 1976 года, о возможном продолжении которой прежде не было объявлено? Но третья часть вот появилась — и нам остаётся, в связи с предыдущими частями, также проследить её развитие.

Не сказать, чтобы Белов усвоил темы нового времени. Он опять начинает с медлительных сцен, разработки добротных подробностей быта, минувшего 60 лет назад. Затем, по революционному разгону тогдашних событий, ускоряется и он, — но всё ещё вставляет и композиционно лишние, никак не работающие эпизоды, уже явно опозданные.

Сдвигка в понимании текших в 1929 году событий — несомненно предоставлена, они больше не сводятся к злостной воле единственного Игната Сопронова, к тому же, как теперь узнаём, ещё и припадочного. Лишь мельком упомянутые раньше процветающая маслодельческая крестьянская артель и кредитное товарищество теперь громят: «заел чужой алимент», «теперь им каюк пришёл», — да не только им, та же судьба и льняному товариществу и машинному (уж было и такое). И деловой, деятельный кооператор вздыхает: «Разве мы знали тогда? разве ведали, что так-то дело обернётся? теперь что осталось от нас? Разгонили нас всех до единого, как зайцев, а денежки из несгораемых шкафов выгребли». И прямая мужицкая реплика: «Пришло, значит, такое время — мужиков к ногтю». И спорят: от Бога ли дьявольская власть? — Налогами обкладывают и повторно, и по третьему разу: «Мы платим, а оне прибавляют». У кого — уже и конфисковали одежду, бытовые предметы — и распродают желающим по дешёвке. Теперь читают в газете: «За чёткость большевистского руководства колхозами», «кулацкие выстрелы не остановят роста социалистической деревни». И — вот оно, понимание, нашлось-таки место в романе: «Да где концы-то искать?» — «Концы в руках Сталина да у Молотова». — А Россия? «Коли совсем догорит? Куды мы после-то?» — «Тоже сгорим! И тепла не оставим после себя, один угар...»

Но вот что существенно важно, часто упускается, а Белов тут не упускает. На стариковском совещании вспоминают, кто воевал в германскую: как на фронте в 17-м году издевались над своими офицерами и стреляли их. А Данило Пачин, отец нашего теперь отчаянного строителя мельницы, так вроде и сам молодого поручика застрелил. «За что?» — размышляет теперь. И подсмеиваются над ним: «Не здря Данило Семёнович ходил под красной-то шапкою, нет, не здря! Бывало, с гармоньей идёт по селу, кричит на весь свет: „Попало от нас белому енералу, попало!“ Ну вот, а ноне чего закричишь?» А один мужик ещё с Пятого года от сына брал да прятал в сундуке Чернышевского и брошюры разные. «А с чего в Двадцатом году колоколам языки выдрали? и святые кресты начали спихивать? Пропили сами себя! Погодите, то ли ишшо увидим». А теперь «куды пойти посоветоваться? Раньше хоть в церкву, к попу, а нынче и церкви под замком». К миру, к сходу? «А что теперь мир? Дожили до того, что скоро друг дружку будем бояться». (Но не покинул Белов и внутрипартийную перетряску. Всё ж — не троцкисты ли всё это затеяли? Вот хулигана Сельку Сопронова го-товит в ВКП(б) троцкист Меерсон из райкома.)

Увы. Композиция романа как была не упорядочена — такой и остаётся. Динамика то и дело расслабляется эпизодами, совершенно ни к чему не прилегающими, — то как Сопронов чуть не утонул в озере (а спасает его от смерти дочь опять же «кулака»), то какие-то армейские манёвры и

ещё новые крестьянские парни из недавних красноармейцев; и «приворотный заговор» старухи для покинутой девки. Вдруг вставлена запоздалая справка: история кооперативного движения в России — ещё от пореформенного александровского времени, и как Николай II учредил мелкий кредит в 1904, а в 1912 был создан московский народный банк, и сколько льна продали за границу в 1914 (сведения ценные, но не в рамках этого романа). (В тексте справки есть и нелепость: будто Ленин «подписал декрет, дававший широкий простор русской кооперации», — когда же? а 20 марта 1917 — то есть когда был ещё в эмиграции, в Цюрихе. А в 1918 — простор тот «был отменён», это-то верно.) — Или вдруг Сопронов зачитывает «беднячко-батрацкой группе», и нам тоже, — полный, без пропусков, на три страницы инструктивный текст, полученный из крайкома ВКП(б). — Уже и раньше проявленное автором похвальное стремление не упустить в историческом романе вбрызгивания и какой-то документальности — однако не в таком же объёме давать и не в такой органической неслитости. (Тут же, рядом, слишком лобово и с избыточной длиннотою, идёт чтение стариками Апокалипсиса.) А тем временем растёт и растёт обилие крестьянских лиц, незапоминаемых имён (уже не раз назван, хотя никак не действует и ни слова не говорит, — Африкан Дрынов: знайте наших! это будет отец Ивана Африкановича).

В этой тесноте уже с трудом находит автор место для оживления так страстно задуманной ветряной мельницы: доделываются кузнецом последние нужные шестерни, а вот наконец подул желанный устойчивый, ровный ветер — и закружились всего два готовых крыла — и мелет! «Тёплая мучная струя потекла из лотка в мучной ларь. Мука была почти горячеей, мягкой и ласковой. Хлебная струя текла как родная вода, как само непрерывное и вечное время». Крылья машут перед нами последним прощальным символом самодельной русской деревни. «И казалось, ничто никогда не остановит эту мучную ласковую теплоту». Какой там! Потому и прихлынули мужики на помол, что «по всей округе мельников объявили буржуйами» — и все перестали молоть.

Тут-то и притекли полномочия Сопронову — создавать колхоз и в нашем селе. Для начала он подаёт в райком «Список контрреволюционного алиментанта» (в том списке и тех стариков, кто за церковь). И близ полночи — кидаются стучать в окна и всех «загаркивать на собранье» тотчас. В полночь, однако, никто не пошёл, — так собрали с утра и протомили на собраньи целый рабочий день.

От этого момента финал романа уплотняется и убыстряется. Закруживается чехарда, хаос. Всё перемешивается: собрания, собрания, уговоры, партийная чистка, новые налоги, конфискации, аресты. И — всё не соглашались в колхоз. Тогда — прислали ловкача, агитатора-гармониста. Он попеременно и бойко, то в мягком тоне воздвигал горы обещаний, какие товары и машины потекут из города, то лихо играл на гармонии и сам же пукался в пляс, чем и покорил. Стали записываться. И ещё. А тогда, «ежели весь мир всколыхнулся да в колхоз двинулся, делать нечего, стало быть, и нам». И вот «люди пешие и конные, уже из других деревень, везли и несли заявленья в колхоз». Впрочем, «к вечеру во многих деревнях люди слышали бабий плач. Ночью в иных домах не зажигали огня. Мелкали по сенникам и подвалам отблески приглушенных фонарей. Попавшие в новый список грузили на санки сундуки и кадушки, завязывали в узлы женские юбки, одеяла, холсты, шубы, девичьи атласовки, кружева, ружья, чаши, выделанные кожи. Швейные машины, самовары и фарфоровую посуду заворачивали в половики. Кожи скручивались в рулоны, муку и зерно таскали из амбаров прямо в мешках. Всё это пряталось по гумнным перевалам в засеках, в овинах либо зарывалось прямо в снег».

И вот — новая жизнь. — «Всех куриц собрали в холодном хлеву при сельсовете, три курицы за ночь замёрзли». «Переписали скотину, зерно,

упряжь, гумна, амбары». (Характерная сценка: жена Сопронова пошла тащить из соседского сарая берёзовые дрова. «Дак пошто дрова-ти берёшь?» — «А беру и брать буду! Для чего и колхоз. Тепериче всё общоё!» Нет, установили: такого закона пока нет, но «может, и будет ишшо».) Восемь коров согнали в один хлев, «и не доёны стоят. А доить будут из других домов приходить». «Коней согнали на большое подворье, их никто не кормил, не поил да и не запрягал».

Крепкая семья Роговых долго сомневалась, устаивала. Наконец, пошла записываться. И у каждого в семье успокоенно забилося сердце. А не тут-то было: «Пришло новое распоряжение: верхушку и зажиточных в колхозы не принимать». — «Напринимали, грят, кулаков, колхоз недействительный».

Всё ж это дано Беловым не в сгустке, но разбавленно, он как бы потерял управление сюжетом. Нет энергии повествования, не передан полный напор эпохи. Всей беспощадности как бы и не взвесил нам. Что не просто уничтожен нацело многовековой этнографический быт, но необратимо сокрушена и народная духовная вера. Всегибельности катящего вала — не дал нам ощутить, скорей — хаос бессмысленных эпизодов. Однако — весьма поучительная иллюстрация тех лет. Хотя, к 1987, с открытием темы и опоздано, — а книга эта надолго сохранится живым свидетельством советской деревни конца 20-х годов.

Все разговоры крестьянские — живые, достоверные до последнего звука. Однако собственный авторский язык Белова не выражен своеобразно, им не приходится наслаждаться. И в нём — меньше богатых живучих русских слов, нежели у Распутина и Астафьева.

Ещё и «**Год великого перелома**» (1989) продолжает беловскую эпопею, но в той же композиционной расслабленности и с повторением сходных промахов. Книга написана неровно, хотя впечатляют сцены: как готовят расстрельщика из неподготовленного человека; раскулачивание среди ночи; телячьи вагоны высылаемых; жизнь раскулаченных по прибытии в ссылку (об этом меньше всего известно).

В 90-е годы Белов в тоске безнадёжности обратился и к послесоветскому периоду. «**В кровном родстве**» (1992). Как колхозники повезли в город кровь сдавать, а вослед пьянка: «свою же кровь пропиваем» — это при всех признаках вырождения деревни. «**У котла**», «**Лейкоз**» (1995) — густая безнадёжность всей обстановки. И пьеса «**Семейные праздники**» (1994) — страстный отзыв на расстрел Верховного Совета в октябре 1993. Тут — вполне динамично, энергично, политически заострённо — несравненно больше, чем это было когда-либо свойственно медлительному Белову.

